

ВСЕВОЛОД БЕНИГСЕН

.....

# Чакра Фролова

*Эту книгу  
рекомендуют  
вам 100  
читателей*



Художник не должен  
приравнивать перо к штыку.  
Он вообще никому ничего не должен. Кроме Бога

Знак качества (ЭКСМО)

Всеволод Бенигсен

**Чакра Фролова**

«ЭКСМО»

2013

## **Бенигсен В.**

Чакра Фролова / В. Бенигсен — «Эксмо», 2013 — (Знак качества (Эксмо))

21 июня 1941 года. Советский кинорежиссер Фролов отправляется в глухой пограничный район Белоруссии снимать очередную агитку об образцовом колхозе. Он и не догадывается, что спустя сутки все круто изменится и он будет волею судьбы метаться между тупыми законами фашистской и советской диктатур, самоуправством партизан, косностью крестьян и беспределом уголовников. Смерть будет ходить за ним по пятам, а он будет убегать от нее, увязая все глубже в липком абсурде войны с ее бессмысленными жертвами, выдуманными героическими боями, арестами и допросами... А чего стоит переправа незадачливого режиссера через неведомую реку в гробу, да еще в сопровождении гигантской деревянной статуи Сталина? Но этот хаос лишь немного притупит боль от чувства одиночества и невозможности реализовать свой творческий дар в условиях, когда от художника требуется не самостийность, а умение угождать: режиму, народу, не все ль равно?

© Бенигсен В., 2013

© Эксмо, 2013

# Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	13
Глава 3	16
Глава 4	22
Глава 5	25
Глава 6	28
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# Всеволод Бенигсен

## Чакра Фролова

### Часть первая

#### Невидово

#### Глава 1

Сон никак не шел. И все раздражало. Как при гриппе, когда даже легкое прикосновение вызывает невыносимый телесный дискомфорт. Раздражал щебет птиц за окном. Раздражала июньская духота. Раздражали монотонные щелчки маятника в старинных часах на кухне. Раздражало собственное сердцебиение. Раздражало все это галдяще-щебечущее-щелкающее многообразие жизни. Хотелось скинуть его, как скидывают липкое от пота одеяло. Сдернуть, соскрести, соскоблить. И закричать.

Какое-то время Фролов насильно удерживал свое тело в неподвижном состоянии, надеясь обмануть сам себя, но наконец сдался. Зашевелил пальцами ног. Повел затекшей шеей и скосил глаза на спящую рядом Варю. Лунный свет, струясь через распахнутые ставни окна, гладил ее лицо, отчего то казалось спокойным, безмятежным и каким-то мертвенно-красивым. В нем не было ничего от той привычной Вари, которую Фролов знал уже два года. Разве что чуть опущенные вниз уголки губ. Словно даже во сне она слегка капризничала или выражала недовольство. Да, спящей она была намного красивее. Фролов подумал, что в гробу она, наверное, будет просто писаной красавицей. Если, конечно, умрет молодой. А уж если кому-нибудь взбредет в голову провести конкурс красоты среди молодых покойниц, она точно возьмет главный приз. Посмертно, конечно.

Фролов задумчиво отер ладонью липкий от испарины лоб и вспомнил, что как раз недавно, кажется в «Крокодиле», читал фельетон, посвященный проведенному где-то на Западе конкурсу красоты среди женщин в купальных костюмах. Сам Фролов ничего предосудительного в этом не видел (ну не голые же!), но автор заметки подал новость в столь убийственно издевательском тоне, что было ясно – дальше извращаться некуда и конкурс на самую красивую покойницу не за горами.

Фролов еще раз посмотрел на Варю и вдруг почувствовал непреодолимое желание задушить ее. Сжать в своих ладонях горячую шею и выдавить жизнь из тела, как краску из тюбика. Но он понимал, что никогда не решится на убийство. Не только по причине малодушия. А потому что любит ее. Любит так, что не мыслит своей жизни без нее. Что еще хуже – не мыслит ее жизни без него. И что совсем плохо – точно знает, что она-то, сволочь, легко мыслит как первое, так и второе. За это он ненавидел ее. А следом и себя. За то, что не может ее долго ненавидеть. А почему – и сам не знает. Много раз Фролов пытался разлюбить Варю. Пропадал, уезжал, напивался, говорил ей гадости (потом, конечно, извинялся). Ничто не помогало. В какой-то книжке он вычитал, что мужчина может разлюбить женщину, если начнет мысленно коллекционировать ее недостатки, в том числе и физические. Вот, мол, здесь усики небольшие, вот бородавка уродливая на плече, а тут морщинка некрасивая. В общем, при желании, как утверждал автор, можно доколлекционироваться до полного равнодушия, а то и брезгливости.

Фролов принял этот метод на вооружение, но быстро разочаровался. Потому что беда влюбленных состоит не в том, что они слепы и не замечают «некрасивости», а в том, что они любят эти некрасивости. И против этого хоть танком иди, а ничего не выйдет. У Вари, напри-

мер, был очень чувствительный лоб. Стоило ей чуть-чуть вспотеть, как на нем возникал архипелаг маленьких прыщиков. Она тщательно маскировала его пудрой, но скрыть до конца не могла. Или, например, если краснела от духоты или выпитого вина, то краснота выступала на ее щеках какими-то неприятными бесформенными пятнами, словно кто-то плеснул ей в лицо краской. Пожалуй, и ноздри были слишком широкими. И глаза слишком близко посажены. Но, черт возьми! Ведь и про прыщики с краснотой можно было бы сказать, что они трогательные, и про широкие ноздри, что они чувственные, и про глаза, что они придают лицу очарования. А для Фролова не было ничего дороже этих глаз и этих ноздрей. Ну и как их разлюбить? Можно было бы, конечно, попробовать раскритиковать ее умственные способности, но ни глупой провинциалкой, ни заносчивой псевдоинтеллектуалкой Варя не была. Душевные качества? Ну, да. Черствовата, властна, жестка, иногда даже жестока, но если б она глядела на Фролова снизу вверх, с обожанием и овечьей покорностью в глазах, еще неизвестно, как долго бы он выдержал такое раболепие.

Фролов снова посмотрел на разглаженное лунным светом спящее лицо Вари и мгновенно забыл о желании задушить ее, потому что почувствовал такой прилив нежности, что в глазах защипало. Ему захотелось наклониться и поцеловать ее в губы. Разбудить и сказать, что любит ее бесконечно. Зарыдать и попросить прощения за все, что он ей когда-то говорил в пылу гнева или раздражения. Но он сдержался, ибо знал, что такой порыв не будет оценен. И в этом заключалось второе и главное унижение этой любви.

Дело в том, что Варя принадлежала к числу тех женщин, которые призваны (провидением или природой) мучить своих мужчин. Мучить жестоко и самозабвенно, но как будто невольно, а иногда и с толикой сострадания. Таким женщинам хочется, чтобы все влюбленные в них мужчины (желательно, конечно, чтобы вообще все, но это физически невозможно) вращались вокруг них, подобно малым спутникам, вращающимся вокруг больших планет. Причем каждый по своей четко заданной орбите. Кто-то ближе, кто-то дальше, но никогда ни слишком близко, ни слишком далеко. Таким женщинам неприятна сама мысль, что какой-то спутник может послать все к черту и соскочить с заданной орбиты, потому что он, видите ли, устал от вечной дистанции или потому что просто влюбился в другую планету. Еще неприятнее, если такой спутник вдруг сменит любовь на искреннюю ненависть. Это подрывает у женщин веру в себя и собственную роковую исключительность. В таком случае они даже готовы пойти на небольшие уступки, лишь бы вернуть предателя. Напрасно думают некоторые, что подобные женщины упиваются своей властью (хотя и такое случается). Чаще они просто так мыслят и так чувствуют. Причем некоторые из них, несмотря на свой природный, приобретенный или даже просто желаемый «фаммфатализм», будут искренне переживать, если какой-нибудь их поклонник возьмет, например, да и сиганет в петлю от безнадежности. Возможно, они даже будут ходить на могилку несчастного самоубийцы и время от времени класть на нее цветы. Ведь, в конце концов, мертвый спутник – тоже спутник. Он обречен на вечное вращение. И уж точно никогда не предаст и не охладет (ибо сильнее хладеть – в прямом смысле – ему будет просто некуда). За такую верность и цветы на могилку положить не грех. А если покойный был еще и талантливым в какой-либо области (поэзии, например), то такая женщина не только будет всячески способствовать публикации его стихов, но еще и трогательные мемуары напишет. В которых она, как бы походя и как бы с легким смущением, отметит большую любовь покойного к ее скромной персоне.

Варя обладала природным талантом удерживать своих мужчин на нужной орбите, управляя их вращениями в своем поле: сдерживая центростремительные силы и пресекая центробежные.

Фролов чувствовал это, но терпел. Иногда срывался. Пропадал без предупреждения или даже грубил ей по телефону, говоря, что больше не намерен быть «одним из». Она не извинялась, не просила о встрече, не грубила в ответ. Тоже пропадала на некоторое время, а

затем вдруг передавала ему письмо с текстом вроде «Вчера всю ночь плакала, вспоминая нашу последнюю встречу». Этого хватало, чтобы Фролов, теряя голову, мчался на телеграф, спеша прорыдать в трубку что-то сентиментально-извинительное. А она, в свою очередь, могла вдруг взять и ответить: «Извини, я занята, позвони завтра». Фролов бесился, но ничего поделать не мог. Варя просто проверяла орбиту, как добросовестная хозяйка проверяет поголовье домашнего скота – все ли на месте? никто ли не убежал? не было ли непредвиденного падежа?

Кстати, сам Фролов не мог стопроцентно определить свое положение в этой астрономической иерархии. Догадывался, что оно, в общем, терпимое (особенно по сравнению с теми ухажерами, которые достаивались в лучшем случае горячего поцелуя в губы). Но невыносимой была мысль, что сегодня Варя стонет и изгибается своим молодым телом под ним, завтра под другим, послезавтра с третьим и все с одинаковым удовольствием, а главное, с искренностью. А ведь был еще муж (с которым, впрочем, она, кажется, вовсе не спала и который находился вообще вне всяких орбит). Муж (которого Варя звала почему-то на детский манер Рюшей, хотя тот не был ни Андреем, ни Гаврилой, а Василием) занимал должность председателя партийной ячейки на каком-то крупном оборонном предприятии, обеспечивал Варю безбедное существование и был абсолютно неревнив.

В глубине души Фролов даже завидовал хладнокровию Вариного супруга. Видимо, тот сам себе внушил, что спать с женой не так уж и важно. Хотя на самом деле (о чем Фролов, конечно, не догадывался) Рюша, будучи коммунистом до мозга костей и глядя на портреты вождей, никак не мог себе представить, что они тоже занимаются таким непотребством. Ну а кто? Ворошилов? Или Молотов? Или, упаси бог, Сталин? Подобные фантазии казались ему столь крамольными, что он отмахивался от них с неистовостью стопроцентного коммуниста. По прошествии времени Рюша стал замечать, что не может представить постельную жизнь не только у первых лиц государства, но и у любого партийного руководства. А после и вообще у кого-либо. Можно сказать, он сознательно ампутировал себе часть воображения, отвечающую за подобное безобразие. Более того, он постепенно убедил себя, что раз постель есть проявление любви, то тем более постыдно дарить любовь жене, когда в ней так нуждается родная страна. Коммунизм на то и коммунизм, думал Рюша, чтобы вся любовь дарилась прежде всего партии, а уж потом родным и близким. Правда, его смущал тот простой логический вывод, в соответствии с которым выходило, что если что-то остается на родных и близких, значит, что-то недодано партии. Поэтому он вообще старался меньше времени проводить дома, чем, естественно, очень радовал свободолюбивую Варю.

Фролов появился в жизни Вари как раз в тот момент, когда Рюша уже стал осознавать нежелательность своего пребывания дома, но еще не считал это однозначной крамолой. Он намеренно часто мотался по командировкам, нередко оставался ночевать в рабочем кабинете, а в дополнение просил начальство «бросать» его на трудные участки работы или отправлять перенимать опыт у коллег или еще что-то.

В августе 39-го года на киностудии «Беларусьфильм» (а она тогда только-только была переброшена из Ленинграда в Минск) давали что-то вроде торжественного приема. Среди гостей был и Варин муж. Естественно, был не один, а с Варей. Та быстро отделилась от занудливого мужа и оказалась в окружении местных сердцеедов. Фролов, хоть и не принадлежал к последним, но тоже присоединился за компанию. Варю он был представлен как начинающий, но подающий надежды кинорежиссер. В то время он отчаянно пробивал в новом объединении «Ревкино» сценарий по «Вишневному саду» Чехова. С первого взгляда Варя ему активно не понравилась. Именно активно, потому что она чем-то раздражала, а не просто оставляла равнодушным. Он не мог точно сказать, что конкретно считает в ее лице или фигуре неправильным, поскольку такие вещи относительно, но его раздражал и ее уверенный тон в разговорах о кино и литературе, и категоричность суждений, и ее растерянно-фальшивая улыбка. Несколько раз они встретились глазами. Тогда Фролову впервые показалось, что все-таки что-

то в ней есть. Что-то притягательное. Затем она попросила почему-то именно его проводить ее до уборной комнаты. Это было так неожиданно, что Фролов смутился, а смутившись, почувствовал приятное волнение. Они шли по извилистым коридорам студии и молчали.

– Неужели я вам настолько не нравлюсь? – спросила Варя, неожиданно остановившись.

– Насколько настолько? – криво улыбнулся Фролов.

– Насколько, что вы бы даже отказались поцеловать меня?

Она вдруг сделала пару шагов по направлению к нему, и Фролов увидел ее насмешливое лицо совсем близко. Почувствовал тепло ее кожи и запах явно дорогих заграничных духов. Он хотел что-то соскрести, но шутка рыбьей костью застряла в горле. В голове зашумело выпитое вино.

«Ведьма!» – почему-то подумал Фролов, видимо, под впечатлением от гоголевского «Вия», по которому давно мечтал написать сценарий. Подумал и влип в ее губы. Как муха в варенье.

С тех пор много воды утекло, но он помнил тот первый поцелуй. Он целовал Варю жадно, словно собирался съесть ее целиком, но никак не мог ухватить ротом. Она то поддавалась, то наступала. В какой-то момент он приоткрыл левый глаз и, к своему ужасу, обнаружил прямо перед собой широко раскрытые глаза Вари, с интересом наблюдавшие за ним во время поцелуя. Фролов невольно отпрянул, потому что никогда не видел женщин, целующихся с открытыми глазами. Для него это было что-то вроде спящих с поднятыми веками – «поднимите мне веки» (опять чертов Вий!) – жуть впотьмах. Но самым ужасным были не открытые глаза, а то, что «пойманная с поличным» Варя поспешно закрыла их, как бы делая вид, что открыла их на секунду случайно. Однако Фролов успел зацепить и запомнить ее взгляд: любопытный и слегка насмешливый. В нем не было свойственного страстному поцелую блуждания глазного яблока. В нем было что угодно, но только не самозабвенное наслаждение. Это Фролов понял сразу. Но не сразу понял, что именно тогда вышел «на орбиту».

На кухне старинные часы хрипло прокашляли четыре раза. Варя зачмокала губами и, повернувшись на другой бок, пробормотала: «Феофанов... гад...».

Фролова передернуло. Он не знал, кто такой Феофанов, но не сомневался, что один из Вариных почитателей.

«Интересно, – мысленно хмыкнул Фролов, – почему он гад. Наверное, приставал к ней, а, получив отпор, начал шантажировать тем, что расскажет о ее многочисленных связях мужу». Обычно Варя сама выбирала себе жертву и терпеть не могла инициативу со стороны мужчин. Признаться, гнусная идея с шантажом приходила в голову и Фролову – уж очень его злила Варина холодность. Но, во-первых, опуститься до такой мерзости не позволяло воспитание. Во-вторых, он был уверен, что муж и без того знал о Вариных любовниках, а стало быть, шантаж был бы неэффективен. Какая из этих двух причин его останавливала в большей степени, он не знал. Надеялся, что все же первая.

Мысли о гаде Феофанове и апатичном муже окончательно вытряхнули из Фролова остатки сонливости. Он обвел глазами мебель, стоящую в спальне: дубовый шкаф, комод, трюмо (явно экспроприированное после революции у какой-то родовой аристократки), и только сейчас заметил, что предметы в комнате давно потеряли ночную зыбкость очертаний. И по блестящему паркету ползет бледный утренний свет. А щебет птиц за окном давно превратился в невыносимую базарную перебранку. Где-то вдали тренькали первые трамваи. Слышались людские голоса и шаркающая метла дворника. Фролов понял, что заснуть ему уже вряд ли удастся. В последнее время ночевать в Вариной спальне ему становилось все более неудобно. Он не боялся прихода мужа, поскольку тот сам перевел себя в положение «призрака отца Гамлета», но раздражала эта кровать, на которой Варя любила других мужчин, раздражало, что эти мужчины, как и он, с утра наслаждаются видом обнаженного Вариного тела, когда она потягивается, стоя у окна, раздражало, что он не уникален в этой череде мужчин, раздражало,

что он здесь гость. Ночевать же у него Варя отказывалась по вполне понятным причинам – во-первых, всегда мог позвонить по телефону муж, во-вторых, кровать у Фролова была узкая, да и комнатка крошечная. Но отказ все-таки задевал. Хотелось, чтоб хотя бы раз она согласилась остаться у него. Ведь тогда бы он стал для нее, хотя бы на время, уникальным и нужным.

А здесь... Заметит ли она вообще его отсутствие, если в один прекрасный день он не придет «подтверждать орбиту»? Огорчится ли? И если да, то надолго ли?

Фролов откинул голову на подушку, закрыл глаза и предпринял последнюю попытку уснуть. На сей раз это ему почти удалось, только вместо сна он погрузился в полудрему, когда ежесекундно понимаешь, где ты и что ты, но мыслями уносишься далеко.

Это было еще до революции, в 1914 году. Фролову тогда только-только исполнилось одиннадцать лет. Он приехал с родителями в Массандру, один из черноморских курортов. Отец Фролова, полковник, был направлен туда в только что отстроенный санаторий для «выздоровливающих и переутомленных воинов» в связи с ранением, полученным в конце августа в первом же сражении между германскими и русскими войсками. Хотя санаторий был для морских, а не сухопутных офицеров, для полковника Фролова сделали исключение. Тем более что за ранение он был награжден орденом Святого Георгия четвертой степени. Полковник отчаянно сопротивлялся поставленному диагнозу, спорил с врачами и рвался на фронт. Наибольшую досаду у него вызывала не незначительность ранения и даже не награда (как он считал, незаслуженная), а то, что ранение приключилось в первый же день его пребывания на фронте. Полковнику было стыдно, что, не успев толком и пороху-то понюхать, он уже отправлен в тыл на лечение. Поэтому во время поездки он был раздражителен, часто хмурился и ругался со всеми подряд: от начальника вокзала до кучера почтовой брички, который заломил двадцать рублей за путешествие из Севастополя в Ялту против обычных восьми. Зато одиннадцатилетний Саша Фролов гордился своим отцом и перед поездкой успел наплести с три короба насчет геройства отца своим приятелям по гимназии. Поскольку он не очень хорошо представлял, что делает высший офицерский состав на фронте, то сочинил историю про то, как его отец в одиночку взял в плен целую роту австрийцев. Выглядело это настолько неправдоподобно, что даже Юра Тихомиров, который обычно верил всему, что рассказывал Саша, на сей раз криво усмехнулся: «Ты ври, ври, да не завирайся. Где это слыхано, чтобы полковник лично в плен солдат брал, да еще целую роту?»

– На фронте все бывает, – загадочно отвечал Саша и, в общем, был прав. Он надеялся, что и на курорте ему будет перед кем похвастаться подвигами отца, но там оказалось как-то малоллюдно. Видимо, из-за войны. Хотя там она представлялась далекой и победоносной.

Море, как ни странно, не произвело на Сашу сильного впечатления. Начитавшись Жюль Верна и «Морских рассказов» Станюковича, он где-то его таким и представлял – волны, чайки, бесконечный простор. Гораздо большее впечатление на него произвела совсем другая картина, увиденная в один из первых дней их пребывания в лечебнице.

Было утро, кажется, второго дня в санатории, и отец изъявил желание немного прогуляться перед завтраком. Мама, страдая от резкой перемены климата и сославшись на плохое самочувствие, предпочла остаться в комнате. Составить компанию отцу вызвался Саша. Отец пожал плечами, как будто ему было все равно. Это задело Сашу, но виду он не показал, тем более что к такой реакции со стороны отца он почти привык.

Сначала они прошли к морю, потом обратно и чуть дальше, к горе. Прогулка заняла много времени, поскольку отец шел, прихрамывая и опираясь на палку. Саша начал уставать, но, боясь вызвать раздражение отца, виду не подал. Через час они добрались до небольшой скотобойни. Откуда она здесь взялась, было непонятно: признаков животноводства в окрестностях не наблюдалось. Внутрь заходить не стали – просто обошли кругом, чтобы двинуться в обратном направлении. И тут Саша увидел свалку отходов – видимо, предназначенных для уничтожения. Но не сама свалка потрясла его, а ее обитатели. Здесь были, конечно, и кошки, и

собаки, и крысы, но всем заправляли вовсе не они, а какая-то странная то ли стая, то ли свора грязных кричащих существ с маленькими головами и длинными клювами, которыми они безжалостно долбили тех самых бродячих собак и кошек, пытающихся урвать свой кусок счастья. Упитанные, если не сказать, жирные, они уверенно передвигались по свалке на своих тонких лапках, переваливаясь с бока на бок, и даже не пытались взлететь, хотя сквозь налипшую на их оперение пыль виднелись очертания некогда функциональных крыльев.

– Кто это? – изумленно спросил у отца Саша.

– Чайки, – ответил тот равнодушно.

Это было непостижимо. Саша брел за отцом, потрясенный увиденным. Как сочетались те гордо реющие в голубом небе или качающиеся на волнах аристократы моря с вот этими жирными опустившимися, сварливыми, жестокими существами, питающимися отбросами со скотобойни? И как происходит это падение в прямом и переносном смысле? И много ли времени оно занимает? Ответы на эти вопросы можно было бы получить, проследив за судьбой одной из чаек, которая выделялась на общем фоне. Фролов сразу обратил на нее внимание. Было видно, что ее «падение» еще не приняло необратимый характер. Она выглядела так, как выглядит обыкновенная морская чайка. В компании ожиревших крикливых существ она была явно чужой. Чужой для всех. Поэтому ее никто и не уважал – ни домашние животные, ни пернатые родичи. Ее отгоняли, на нее кричали, гавкали и мяукали. Она же, словно потерявшая привычные ориентиры, испуганно отпрыгивала и взлетала, но свалки не покидала. Возможно, потому что верила, что рано или поздно станет здесь своей. Возможно, потому что уже не представляла себе другой обстановки и понимала, что надо приспособливаться.

Несколько раз потом Саша встречал в литературе описания бродящих по помойкам чаек, но ничто не могло перебить то первое личное впечатление.

После этой прогулки родители большую часть времени проводили либо в прохладном холле лечебницы, либо на пляже и редко куда-то выходили. Но если все-таки решались на прогулку, Саша неизменно отказывался – боялся снова увидеть тех чаек. Но почему, и сам не знал – они были не страшными, просто противными.

Впрочем, и на пляж он не рвался, хотя и ходил, поскольку в номере было слишком душно. На берегу, предоставленный сам себе, он откровенно скучал. Пересыпал песок и гальку из одной кучи в другую, строил лабиринт и пускал по нему пойманную громадную мокрицу. Пытался читать, но почему-то совершенно не мог сосредоточиться – видимо, из-за жары. Единственным развлечением была большая и шумная семья из Малороссии, которая изо дня в день располагалась неподалеку от Фроловых. Говорили они то на русском, то на украинском, словно никак не могли отдать предпочтение одному из языков. Это были четыре пожилые женщины и мужчина лет шестидесяти пяти, басовитый, лысый и веселый. Все они были каких-то невероятных раблезиански-рубенсовских объемов. Женщины походили на кадки с тестом, в которые явно переложили дрожжей. Тесто лезло, вываливалось, вытекало. А они время от времени заправляли его обратно. Когда они ложились, казалось, что тела их вот-вот растекутся, а после испарятся под палящими лучами солнца. Когда вставали, то тяжело кряхтели и опасно озирались, словно боялись, что какая-то часть их необъятных телес может, оторвавшись, остаться на песке. Мужчина был немногим худее – при смехе у него подпрыгивало волосатое брюхо и тряслась грудь, сильно напоминая женскую. Самым удивительным было то, что вся эта живая масса прыгала, шевелилась и переливалась вокруг белобрысого, а главное, невероятно худого мальчишка лет шести, которого все называли Вадиком. Именно он был последним (и, судя по всему, главным) участником этой странной семейки. Вадик называл мужчину «дедой», а женщин «бабушками», хотя последних было четверо, и это сильно удивляло наблюдавшего за ними Сашу, у которого не было ни одной, но который твердо знал, что такое их количество противоречит законам природы. Однако, поскольку семья была явно малороссийская, одиннадцатилетний Фролов предположил, что, возможно, на Украину эти законы природы не рас-

пространяются и количество бабушек с дедушками там не ограничено. Отчасти он был не так далек от истины. Клановая близость на Юге всегда выше, чем на Севере, поэтому близким родственником здесь на полном серьезе называют троюродного брата внучатого племянника.

Но если с количеством бабушек маленький Фролов более-менее разобрался, то понять, почему при таком обилии бабушек столь скупо представлена мужская часть семьи Вадика, не мог. Нет, он, конечно, знал, что где-то идет война, но как-то не очень связывал ее с жизнью мирного населения в тылу. Ему казалось, что в войне в основном участвуют какие-то отдельные русские люди, которые как бы даже специально для этих целей и рождаются. А вот командовать ими отправляются уже нормальные, а главное, хорошо знакомые ему лично люди: папа или, например, папины приятели, дядя Миша или дядя Володя. Он очень хотел расспросить Вадика насчет причин полового перекося в его семье, но, во-первых, Вадик был сильно младше и Сашу, считавшего себя уже взрослым, коробила мысль об общении с таким карапузом. Во-вторых, вокруг Вадика кипела такая бурная жизнь, что подступиться к нему было нелегко. Казалось, он нужен и бабушкам, и дедушке, и, видимо, вообще всем своим родственникам, как воздух. Саша попытался представить, что бы они делали, приключись с их обожаемым внуком какая-нибудь беда, но у него ничего не вышло: если из картины пропал Вадик, следом пропадали и все остальные – их существование без Вадика тут же теряло всякий смысл и оправдание. В то время как Сашины родители занимались каждый своим делом, не обращая никакого внимания на сына: отец читал газету, мама какую-то книгу, бабушки из соседней семьи беспрерывно спорили друг с другом на предмет, надо ли Вадиду надеть панамку от солнца или нет, можно ли ему купаться или пока лучше подождать и так далее. Вадик явно уставал от этих бесконечных перепалок, предпочитая обращаться исключительно к деду, видимо, как к равному и единственному адекватному человеку в своем окружении.

– Деда, смотри! Я тоже курю! – радостно кричал он, засовывая в рот папиросу деда.

– Вадик! – тут же истошно вопила одна из бабушек и бросалась отбирать папиросу, но Вадик умело переключал папиросу из одной руки в другую и убежал, взметая розовыми пятками фонтанчики песка. Бабушки тут же наваливались всем своим могучим квартетом на деда:

– Толя!

– А шо Толя?! – морщился тот.

– Ты шо, не бачишь? Дитя в рот курево сует, а ты стоишь дурень дурнем. Як столб телеграфный. Ну шо ты лыбишься?

– Ну а шо я маю робити? – с характерным украинским взвизгом в начале фразы и с замедлением в конце спрашивал мужчина.

– Ты дед или просто погуляти вышел? Поди, відбери у дитя папиросу и будем считать, шо ты дед.

– Тююю... – тянул мужчина и неожиданно взрывался прокуренным смехом. – Да як я у нэхо відберу? Он же бегает, шо твой таракан. Вадик! Вадик! Иди к деду, дитя бисово! Не балуй!

Наконец, совместными усилиями семья ловила Вадика, отбирала измятую папиросу и долго, смакуя каждую деталь, обсуждала инцидент. До тех пор, пока Вадик не придумывал что-то новое: например, начинал лезть по спине одной из сидевших бабушек, словно на горку.

– Вадик, – говорила та с нарочитой строгостью, пытаясь стряхнуть внука. – Мне это перестает нравиться.

Вадик слезал, но тут же принимался кидаться песком. И так до бесконечности.

Наблюдая за этими живыми картинками, Фролов с изумлением отметил про себя то, что мир крутится вокруг Вадика. Причем без малейшего усилия со стороны Вадика. И даже он, Саша Фролов, невольно вовлечен в эту орбиту (хотя бы тем, что наблюдает за этим безобразием). Он не знал, плохо это или хорошо для будущей жизни Вадика. Может, подобное отношение со стороны родственников только избалует белокрысого хулигана и усложнит ему

жизнь. А может, наоборот – он научится управлять этим миром. Одно было точно – Вадик рос с осознанием собственной нужности. Этого у Фролова никогда не было. Может, поэтому он так страдал от своего нынешнего романа с Варей – коэффициент нужности в отношениях с ней равнялся если не нулю, то был где-то рядом. Зато вокруг нее кружился весь мир. Включая Фролова. Кружился, кружился...

Фролов почувствовал, что от этих мыслей у него самого начала кружиться голова. Он понял, что это не сон, а черт-те что, и снова открыл глаза. Он вдруг вспомнил, что завтра на киностудии состоится показ его фильма. Придет руководитель объединения Кондрат Михайлович. Соберется худсовет. После чего наверняка будет неприятный разговор. На приятные Фролов уже давно не рассчитывал. Ему вдруг стало так тошно, что он неожиданно для себя заснул. Видимо, в его организме сработал какой-то малоизученный наукой предохранитель.

«Сколько еще неизведанных тайн в человеке», – успел подумать Фролов прежде, чем провалиться в глубокий сон.

## Глава 2

В 1933 году на молодой киностудии «Белгоскино», в то время еще базирующейся в Ленинграде, было создано небольшое экспериментальное объединение «Ревкино», целью которого было дать шанс молодым творцам. Руководить им был назначен Кондрат Михайлович Топор, опытный функционер, который, собственно, и «пробил» это объединение. Фамилия его, конечно, служила прекрасным поводом для зубоскальства. Если Кондрат Михайлович становился на сторону режиссера и в итоге что-то получалось, то это называлось «каша из топора». Если же Кондрат Михайлович заступался за режиссера, но заступничество не приносило плодов, это называлось «написано пером, не вырубить топором». И действительно, вопреки фамилии, а может, и нарочно в пику ей, Кондрат Михайлович сплеча не рубил, был человеком добродушным, осторожным и пожалуй что неглупым. Последнее, впрочем, было довольно трудно сказать наверняка, ибо он никогда не говорил от своего лица, а только от имени партии или, на крайний случай, народа. У него просто было неглупое лицо. Ничего не меняя по сути, это почему-то утешало, когда Кондрат Михайлович принимался громить сценарные заявки молодых режиссеров. В пользу его ума (а может, и хитрости) также говорил тот факт, что он продержался руководителем объединения почти восемь лет и за это время ни разу не подвергся никаким взысканиям по партийной линии. Правда, и особых успехов на его счету не было, если не считать нескольких документально-пропагандистских короткометражек.

Имелось и два художественных фильма: один про Гражданскую войну, другой про авиаконструкторское бюро, где, как водится, новый метод руководства молодого коммуниста противопоставлялся неэффективному методу ретрограда с говорящей фамилией Устарелов. Но ни один из них на экраны не вышел. Второй, потому что в нем противопоставлялись два, в общем, правильных советских человека, а стало быть, это была борьба добра с добром, что уже не приветствовалось (приветствовалась тема зла в виде вредительства или шпионажа), даром, что фильм не был комедией. А первый не вышел на экраны по чистому невезению. Он был послан в Москву для показа на даче у Сталина, но вождь, едва услышав, что сейчас будет показан фильм про Гражданскую войну, отмахнулся, поморщившись:

– Нэ хочу опять про войну.

Видимо, был не в настроении. Этого короткого отзыва хватило для того, чтобы фильм вернуть на студию с короткой, туманной и убийственной формулировкой «кинокартина имеет ряд серьезных недостатков и требует доработки». Что означает эта претензия, никто не понял, но рисковать или переспрашивать не решились – боялись привлечь лишнее внимание. Мало ли. Начнешь расспрашивать – возьмут и обнаружат что-то похуже «недостатков» – например, контрреволюцию. В общем, фильм от греха подальше запихнули в какой-то пыльный архив, где он благополучно и сгинул во время войны. Убытки списали за государственный счет. Был фильм – нет фильма. Кстати, много лет спустя, уже в конце пятидесятых, были найдены обрывки пленки этой самой картины с отбракованным материалом. Из них был смонтирован фильм, состоявший из отдельных кадров, а также наложенных субтитров, поясняющих происходящее. Это позволило некоторым историкам кино настолько вольно интерпретировать фильм, что в итоге тот был признан неизвестным шедевром сталинской эпохи, а режиссер объявлен новатором и гением. Сам режиссер очень удивлялся этой внезапной славе, ибо снимал фильм ради денег и по навязанному сверху сценарию, и в свое время был даже очень рад, что тот был смыт, хотя и потратил на него силы и время. Но сейчас, смущенный серьезным разбором отдельных кадров, оставшихся от фильма, постепенно проникся идеей собственной гениальности и умер в полной уверенности, что действительно снял антисоветский шедевр.

Фролов пришел на объединение во второй половине 30-х, горя желанием снимать кино. К тому времени он закончил Госкиношколу, успел поработать ассистентом у некоторых име-

нитых режиссеров и даже мелькнул в массовке у Александра. Все это далось не без труда, так как анкета Фролова была несколько подпорчена отцом, который принадлежал к самой ненавистой в тогдашнем СССР прослойке – дореволюционных военных. Хуже были только аристократы. Но полковник царской армии Фролов, к счастью (если подобный оборот здесь уместен), погиб в 1917 году на фронте незадолго до Октябрьской революции, а посему оставалась теоретическая (и спасительная) вероятность, что он мог бы встать на сторону красных, доживи он до Гражданской войны. Мать же была из небогатой купеческой семьи, что считалось терпимым недостатком.

На «Мосфильме» Фролов, однако, зацепиться не смог, хотя шанс был. Как раз в 1935 году режиссер Руберман снимал приключенческий фильм про поиски упавшего метеорита, но начались конфликты с группой, и он ушел. Фильм необходимо было доснять, а все режиссеры были заняты. Знакомый редактор представил руководству Фролова, и там после некоторых колебаний дали «добро». Фролов с горячностью неопита принял за дело. Внес изменения в сценарий: углубил характеры, развил сюжетную линию, переписал финал, а также отбросил за ненадобностью кое-что из отснятого материала и заменил оператора. Однако его рвение не было оценено. Новый финал был назван упадническим, отношения между героями пошлыми, характеры мещанскими и так далее. А у свеженазначенного оператора всплыли какие-то родственники за границей, и его отстранили от работы. После чего Фролова осудили за проталкивание в кино политически неблагонадежных работников. В общем, все как-то не задалось. Сунулся Фролов и на студию детских фильмов, куда его рекомендовал бывший однокурсник по киношколе. Там он нашел соавтора, чтобы написать сценарий по рассказам Гайдара, но дело встало на уровне заявки. Ждали отмашки, но зря – в 1936-м, как назло, в том же «Союздетфильме» запустили фильм «Дума про казака Голоту» по повести Гайдара «Р.В.С.». Два фильма по одному и тому же автору показались руководству студии перебором. Фролову сказали, что рассказы Гайдара сейчас не актуальны, зато актуальна тема нового детского пионерского лагеря «Артек», где как раз этим летом пройдет смена пионеров-орденоносцев, отмеченных правительственными наградами, и вот было бы хорошо, если бы Фролов съездил и отснял документальный репортаж об этом эпохальном событии. Фролов возражать не стал, чтобы не портить отношения. Честно снял идеологически выдержанный фильм про образцовый лагерь, образцовых пионеров, заботу партии (и лично товарища Молотова), подрастающее поколение и дружбу между народами. Хотя до дружбы народов было еще далеко (иностранцев тогда еще не принимали) – важнее были орденосцы.

Закадровый текст написал сам Фролов, хотя его сильно корежило от пафосного задора, которым обычно приправляли подобный комментарий. Зато сочинялся текст легко – как трескучая газетная передовица. К тому же в некотором роде это была художественная работа, ибо к реальной жизни не имела никакого отношения.

«Миша Кольцов в своем городе – герой. Его имя здесь знает каждый. Ведь именно Миша со своим пионерским звеном отправился на сбор картофеля в совхоз имени Кирова. И именно благодаря ударному труду слаженной бригады Кольцова совхоз добился значительных успехов в осуществлении намеченного партией пятилетнего плана. Посмотрите, как внимательно Миша слушает пятиклассника Кирилла, пионера-орденоносца из Мурманска, который демонстрирует артековцам собранную им модель военного корабля. Кирилл обещает Мише, что когда-то они вместе совершат кругосветное путешествие на настоящем корабле. Что ж, Миша, большому кораблю – большое плавание!»

На самом деле никакого добровольного почина со стороны пионера Кольцова не было, и Фролов это знал. Просто в местном облисполкоме узнали, что в соседней области есть свой пионер-орденоносец и подумали: «А чем мы хуже?» Стали искать своего героя. Разослали ориентировку по всем школам в районе. Так, мол, и так – требуется активист, отличник, примерный сын и гордость класса. Поспешность была такой, словно искали не будущего героя, а мате-

рого преступника. В итоге сошлись на кандидатуре Кольцова и быстро снарядили того (и еще с десятков пионеров) помогать совхозу. В совхозе детей приняли, мягко говоря, без энтузиазма, поскольку те только путались под ногами и мешали, а план совхоз и без них выполнял. Но против линии партии председатель совхоза идти не осмелился. В итоге пионерам на скорую руку организовали «трудовой подвиг», приписали все, что только можно было приписать и отправили отчет наверх. Отправили, не проверив – видимо, просто посчитав, излишним корректировать выдуманные цифры в угоду реальным человеческим возможностям. Беда была в том, что, согласно поспешно составленному отчету, каждый пионер в среднем собрал по полторы тонны картошки, что означало убойный круглосуточный труд в течение двух недель. При таких темпах пионеры-герои должны были по всем законам природы вернуться домой в закрытых гробах. Но наверху не только не удивились вернувшимся живыми детям (там уже давно ничему не удивлялись), а, наоборот, одобрительно покачали головами. Кольцову дали орден и путевку в «Артек». Остальных пионеров наградили почетными грамотами. Кстати, после «Артека» Кольцов (видимо, посчитав, что его жизненная миссия выполнена) бросил школу, связался с уголовниками и начал пить. В итоге проиграл в карты свой орден и к пятнадцати годам оказался в детской исправительной колонии. Выйдя оттуда, отправился по совету друзей на воровские заработки в Астрахань, где по пьяной лавочке свалился за борт корабля, на котором отмечал свой день рождения, в Волгу. Сдохнулись поздно. Тело так и не нашли, решив, что его унесло течением в море. Так что слова Фролова «большому кораблю – большое плавание» оказались в некотором роде пророческими. По крайней мере, во второй своей части.

Материал про «Артек» очень понравился, и Фролову предложили остаться в Крыму, дабы продолжить начатое дело – периодически снимать такую хронику из пионерлагеря. Однако Фролов, который все еще не терял надежды стать полноценным художником, наотрез отказался. Точнее, он съездил в лагерь еще раз, а потом начал торговаться – мол, «Артек» «Артеком», но, может, дадите возможность поставить что-то художественное.

Руководство обещало подумать, но, поскольку все сценарные заявки Фролова были, мягко говоря, небезупречны в идеологическом плане, в итоге отказало.

В это самое время Фролов услышал, что на Белгоскино создано какое-то объединение, где ждут не дождутся молодых кинематографистов. В декабре 1937 года он перебрался в Ленинград. А в 1939 году в Минск.

## Глава 3

Деревня Невидово была столь крошечных размеров и находилась на таком отшибе в географическом и идеологическом смысле, что все великие почины советской политики доходили сюда с большими опозданиями, если вообще доходили. Равноудаленная как от какого-либо крупного белорусского города, так и от границы, окруженная бескрайними болотами, деревня была похожа на остров в бушующем море хаоса истории.

Здесь имели некоторое представление о революции и Ленине (хотя после Брестского мира оказались оккупированы немцами), частично знали о Гражданской войне (в 19-м году забредали в Невидово какие-то конные красноармейцы, оборванные и злые), краем уха слышали о Сталине и каких-то колхозах, но уже понятия не имели о пятилетках, индустриализации, стахановцах и прочих атрибутах советской действительности (или пропаганды?). Последнее было совсем неудивительно, ибо после Рижского договора 1921 года, согласно которому Западная Белоруссия отошла к Польше, деревня очутилась как раз в отданной Польше части. Таким образом, советская жизнь со всеми ее новостройками и великими починами прошла абсолютно мимо невидовцев. Впрочем, как и европейская жизнь, поскольку Невидово по чистому недоразумению не было обозначено ни на одной географической карте. А в 1939-м вся Западная Белоруссия вернулась в лоно Советской России, и невидовцы, сами того не подозревая, снова стали советскими гражданами. На самом деле, искренне считая себя белорусами и даже изредка вставляя белорусские словечки, невидовцы происходили из так называемых государственных крестьян, которые еще при Петре Первом получили особые привилегии, хотя и были прикреплены к земле. После опустошительных (в который раз) военно-политических действий на территории неведучей Белоруссии (а именно сразу после войны с Наполеоном) для восстановления экономики и демографии из России туда были отправлены государственные крестьяне. Среди них были и те, кто занял опустошенную, но живописную область посреди Кузьявиных болот. Что называется, подальше от греха. Отчасти эта стратегия оправдала себя, ибо каждый раз, когда начинался большой межгосударственный дележ, Невидово автоматически переходило из рук в руки, но без разрушительных последствий, столь обычных при подобном перенесении государственных границ.

Оборотной стороной политического невежества невидовцев было полное игнорирование технического прогресса. Кино сюда ни в немецкие, ни в советские, ни в польские времена не привозилось. Агитаторы тем более не приезжали. Радио тоже не было, как не было и электричества. Жили невидовцы своим хозяйством и ни в каком общественном строительстве участия не принимали. Тем более что с них и не спрашивали. Случайные люди сюда не заходили. Лишь однажды в 1919 году забрел в деревню лихой отряд местного анархиста и головореза Жданько, но быстро исчез. Следом явились красноармейцы, пытавшиеся изловить банду Жданько. И тоже быстро умчались. Оставив на память одинокий телеграфный столб посреди деревни. Славные бойцы Красной армии, видимо, собирались наладить связь города и деревни, но ни поставить остальные столбы, ни протянуть провода времени не хватило. Отряд красноармейцев покинул Невидово, чтобы вернуться «опосля», когда будет разбита банда Жданько. Но «опосля» не вернулся, потому что безнадежно увяз в Кузьявиных болотах, окружавших со всех сторон деревню. А когда, потеряв по дороге добрый десяток бойцов, наконец, добрался до «твердой земли», то был встречен шашками и ураганным огнем засевшего в засаде Жданько. В итоге все красноармейцы полегли.

С тех пор в Невидово никто не попадал. А в 1939 году Западная Белоруссия воссоединилась с остальной Белоруссией и вошла в состав Советского Союза. Впрочем, об этом невидовцы тоже узнали с опозданием, поскольку с объяснениями к ним никто не приезжал, а они и так были уверены, что живут в России. И лишь в октябре 1940 года в Невидово случайно

заехал какой-то большой начальник. Именно случайно, поскольку ехал он в совершенно другое место, но сбился с пути и полдня проплутал в лесу, где его «ЗиС-101» лишился одной фары и получил несколько вмятин. Последнее было неудивительно, ибо шофер из чиновника был никудышный, а своего водителя он отпустил на свадьбу к брату.

Оказавшись в Невидове, чиновник сильно смутился отсутствием каких-либо признаков советской власти: как вторичных, вроде кумачовых транспарантов, государственных флагов, портретов вождей и пр., так и первичных, вроде сельсовета или хотя бы клуба. Зато имелась деревянная церквушка – целая и невредимая. Не меньшее удивление у чиновника вызвало и отсутствие людей на улице. Это можно было бы объяснить сбором урожая, но в округе не было ни рек, ни пашен, лишь сплошные леса да болота. Заметив какого-то старика, который стоял около раскидистого дуба и задумчиво разглядывал спускающуюся с ветки гусеницу, начальник очень обрадовался и, библикнув, окликнул того через приспущенное стекло. Невидовский старожил дед Михась с удивлением посмотрел на машину и, оставив гусеницу, подошел. Здороваться с чиновником не стал, зато стал оглядывать «ЗиС», постукивая костяшками пальцев по разным частям его корпуса, словно проверяя качество металла.

Большого начальника сильно покорило это флегматичное выстукивание, но ему не хотелось начинать разговор с конфликта, тем более что машины было не жаль – она все равно нуждалась в капитальном ремонте. Первым делом он поинтересовался, «где тут председатель колхоза». Михась, не прерывая постукиваний, ответил загадочным встречным вопросом:

– А ежели такую машину в болото столкнуть, долго ль ей тонуть?

Раздраженный глупостью встречного вопроса, начальник упрямо переспросил насчет председателя колхоза. На этот раз Михась оставил машину в покое и стал долго тереть лоб, после чего выдал лаконичный ответ: «Чего нет, того нет».

Начальник растерялся, но виду не подал и даже решил подыграть шутнику.

– Может, и колхоза нет? – сыронизировал он.

– Может, и нет, – безо всякой иронии ответил Михась.

– Может или нет? – начал терять терпение чиновник.

Михась снова потер лоб, но ничего не сказал, так как почувствовал, что отсутствие какого-то колхоза расстраивает собеседника.

– Ну, хорошо, – мысленно чертыхнувшись, отступил чиновник. После чего зашел с другого фланга. – А поселковый совет есть?

– Совет? – удивился Михась и стал еще сильнее тереть лоб, желая продемонстрировать работу мысли, хотя на самом деле не понимал, о чем речь. – Да а на кой ляд он нам?

Спросил без злобы, а даже с интересом – может, и вправду, полезная штука, этот совет.

– Значит, нет, – попытожил чиновник.

– Значит, нет, – ответил Михась.

– Зато церковь, как вижу, стоит?

Михась обернулся и посмотрел на церковь. Она действительно стояла. Смущенный очевидной глупостью вопроса, он замялся, но затем все же ответил:

– Стоит.

После паузы добродушно пояснил:

– А чего ей не стоять? Хлеба не просит. Только служить некому. Любопытный факт. Был у нас дяк, но поехал в Москву лет двадцать назад, да так и не вернулся. С тех пор ждем. Может, загулял, а может, еще что. У нас в 17-м году такой случай был. Я только-только с фронта вернулся. Не потому что война закончилась, а надоело мне как-то. Митька Филимонов, Николин сын, поехал в город жену себе искать. Сказал, женюсь, привезу невесту, свадьбу справим. Ну и уехал. А вернулся через восемь лет. Мы уж его к тому времени похоронили. Слыхано ли, чтоб восемь лет ни слуху ни духу. А он вдруг возьми, да и приедь, живой-здоровый. Правда, без обеих рук. И глухой, как тетерев. Ну и без невесты. Оказывается, как он поехал, так там

революция приключилась. А после война новая. Ну, ему обе руки и оттяпало. Любопытный факт. Оттяпало не потому, что подстрелили или еще что. А потому что пьяным полез к бабе, а она бабой командира евойного была. Командир осерчал и шашкой хлобыстнул Митьку по рукам. А слух Митька потерял взаправду от снаряда. Так что кое в чем через войну все-таки пострадал. А вот против кого воевал, мы так и не поняли. Говорит, против белых каких-то. Так, а мы что, африканцы какие? Мы ж тоже белые. Врет, наверное. Но это теперь все равно не узнать, потому как Митьку прошлым летом кабан в лесу пропорол. Вусмерть. А дьяка нет. Дьяк уехал в Москву и не вернулся.

Тут рассказ неожиданно оборвался и повисла пауза.

Чиновник, слегка ошарашенный подробным рассказом о каком-то Митьке Филимонове и запоровшем его кабане, выждал несколько секунд, чтобы собраться с мыслями.

– Ну а партийное руководство имеется хотя бы?

Дед Михась смутился и, как всегда у него бывало при смущении, сморкнулся. Он уже понял, что имеет дело с идиотом, у которого что ни вопрос, то какая-то чепуха. Михась слышал, что в больших городах имеются специальные лечебницы для дураков, и он также слышал, что дураки из этих лечебниц иногда сбегают. Правда, он не слышал, чтобы дураки сбежали на таких машинах, но кто его знает, как у них там в городе.

– Руководства отродясь не было, – пожал он плечами. – Мы ж люди вольные...

– Какие еще в жопу вольные?! – взвизгнул чиновник, выйдя, наконец, из себя. – Вы что, не знаете, какая власть на дворе?!

– Неужто снова царь? – побледнел Михась и почему-то перекрестился. Но, перекрестившись, смутился и тут же от смущения сморкнулся.

Оторопев от этой комбинации, а также встречного вопроса, чиновник замолчал.

«Товарищ, видимо, идиот», – подумал он про себя. Он слышал, что в селах еще встречаются местные дурачки, которые отчаянно не желают уметь. И все же искреннее удивление, с которым отреагировал Михась на вопрос о власти, смутило чиновника. В голове у него возникло фантастическое предположение, что в своих блужданиях по лесу он случайно пересек границу и оказался в Польше, в одной из русскоговорящих деревень. Предположение было не таким уж фантастичным, ибо со всеми этими передвижениями границы туда-сюда можно было и запутаться.

– Вы русские или не русские?! – выдавил он, наконец, и едва не зажмурился в ожидании ответа.

– Ну, какие ж мы русские? – удивился Михась.

Чиновник побледнел и наверняка покачнулся бы, если бы стоял на ногах. Но поскольку сидел за рулем, то только чуть-чуть накренился телом вправо, словно заложил невидимый вираж. В голове понеслись картины одна страшнее другой. Причем скорость мысли была столь высокой, что за какую-то долю секунды чиновник успел проститься с семьей, представил все варианты грядущего ареста, а также на всякий случай мысленно посетил свой собственный допрос в НКВД, где дал внятное и, как ему показалось, убедительное объяснение этому пересечению границы.

– Русские – это русские... А мы белорусы. Но с русскими корнями, – неожиданно закончил Михась, и все картины в голове чиновника исчезли, словно рисунки на песке, смытые набежавшей волной.

Он с облегчением выпрямился и даже приосанился. Голосовые связки снова налились строгостью.

– А народ куда делся? По ягоды, что ли, пошел?

– Да не, – отмахнулся Михась. – Какие тут ягоды? Пошли посмотреть, как Тимоха топиться будет.

– Какой еще Тимоха? – снова стал терять терпение начальник.

– Тимоха Терешин.

– Да зачем?!

– Так интересно ж.

– Интересно топиться?!

– Да не, топиться неинтересно. Интересно смотреть. А вообще не знаю, может, и топиться интересно.

Тут Михась вздохнул и с сочувствием посмотрел на чиновника.

«Жаль, все-таки, – подумал он, – когда человек таким дурнем уродился, что спрашивает, интересно ли топиться. А главное, что и сам, поди, не понимает, что дурной на всю голову».

Чиновник, однако, сдаваться не собирался.

– Да я не спрашиваю, зачем народ смотреть побежал! – закричал он. – Я спрашиваю, зачем Тимоха этот топиться пошел?!

– А бес его знает, – пожал плечами Михась. – Он каждый месяц топиться ходит.

– А что ж не тонет?

– Да мы ж его и спасаем, – удивился недогадливости собеседника Михась.

Чиновник едва не застонал, но сдержался.

– Ерунда какая-то... Советский человек ходит раз в месяц топиться... Бред...

В его партийной голове факт самоубийства, да еще ежемесячного, никак не сочетался с гордым званием советского человека. Хотя он и понимал, что область провела как-никак восемнадцать лет без мудрого надзора советской власти.

– Да какой он советский человек! – с досадой махнул рукой Михась. – Он наш, местный.

По-своему Михась был прав, ибо исходил из того, что советский человек – это сравнительно новое образование, о котором в Невидове, конечно, слыхали, но все же никак не предполагали, что и среди них могут завестись советские люди. Да и откуда? Не от сырости же. Но чиновник эту логическую цепочку явно не прочитал, а потому взвился, едва не стукнувшись головой об потолок салона автомобиля.

– Раз в советской деревне живет, значит, советский! И вообще, товарищ, вы, как я погляжу, отличаетесь исключительной несознательностью. Как будто не для вас революцию делали!

Михась виновато опустил голову. Но не потому, что чувствовал себя виноватым или считал себя недостойным сделанной кем-то революции, а потому что не знал, что говорить.

– Ну а деревня как называется? – устало спросил чиновник после паузы.

– Наша?

– Нет, наша! – съязвил тот. – Ваша, ваша! Чья ж еще?

– Ты что-то меня совсем запутал. То она наша, то советская...

– Эта деревня! – закричал чиновник, чувствуя, что сходит с ума.

– Невидово.

– А чего ж на карте ее нет?

– Не знаю, – смутился Михась и, естественно, тут же сморкнулся.

– Ладно, – с какой-то угрозой в голосе сказал чиновник. – Я вам организую советскую власть, а то разболтались...

Михась ничего не сказал, но про себя подумал, что чиновник все-таки конченный идиот, ибо, если советскую власть надо организовывать, значит, ее нет. Но как же ее может не быть, если он сам до этого сказал, что деревня советская? Но поскольку он слышал, что спорить с идиотами бессмысленно и даже опасно, оставил эти соображения при себе.

– Как тут лучше выехать? – бросил чиновник через окно напоследок.

– Так это... ежели мимо Кузьявиных болот и аккуратно через Лысую опушку, то куда-то выедешь... Держись лева, там, где ели.

Чиновник недовольно хмыкнул, нажал на педаль газа, и автомобиль, взметнув сухое облако коричневой пыли, скрылся.

По дороге чиновник представлял, как будет рассказывать об этой деревне своим знакомым и ему никто не будет верить. Он даже рассмеялся один раз, вообразив их удивленные лица. Но увидеть их лица ему было не суждено, так как по приезде домой в Минск он был немедленно арестован как английский шпион. Оказывается, пока он мотался по делам и блуждал в лесах рядом с Невидово, на него поступил донос, где утверждалось, что по ночам он тайно передает какие-то радиogramмы на иностранных языках, в частности, несколько раз отчетливо повторил фразу на английском «where is my hat?» На самом деле чиновник ничего не передавал, а только вслух учил английский по школьному учебнику сына, поскольку на днях ему предстояло принять делегацию английских коммунистов. Но в НКВД над такой наивной отговоркой только посмеялись, однако на всякий случай решили проверить. Тут бы и прикусить язык чиновнику – авось намотали б лет десять, все лучше, чем расстрел, но на свою беду, то ли от волнения, то ли от желания помочь славным органам и тем самым заслужить прощение, он принялся рассказывать про деревню, где о советской власти слухом не слыхивали и вот хорошо бы ее проверить. Энкавэдэшники, которые уже представили себе, как арестуют целую антисоветскую деревню и сколько медалей они получают за раскрытие заговора такого масштаба, стали требовать от чиновника указать на карте месторасположение деревни.

– Так ее ж нет на карте! – почти застонал чиновник. – В том-то все и дело!

– То есть, как нет? – переглянулись чекисты.

– Не указана!

– А как же вы ее нашли?

– Да случайно! Заблудился и набрел.

– Случайно, значит? – недоверчиво переспросили работники НКВД. – А называется как?

– Небитово. Или Нелидово. Или...

Тут чиновник понял, что вляпался по самые уши, причем по собственной вине, потому что с перепуга напрочь забыл название деревни.

– Запamятовал я, – выдавил он наконец и максимально жалостливо посмотрел на чекистов.

– Не хотим вспоминать, значит, – подытожил главный следователь, мысленно потирая руки. – А где секретная карта?

– Какая еще секретная карта? – пересохшими губами прошелестел чиновник.

– Ну, по которой вы ездите в деревню, где передаете в свой центр разведданные и прочую информацию, – охотно разъяснил следователь.

«Господи, – мысленно ужаснулся чиновник, – ну что ж за идиоты? Зачем бы я стал говорить про деревню, если б был на самом деле был шпионом?! Здесь же нет логики».

Он даже хотел задать этот вопрос вслух, но каким-то шестым чувством понял, что это бессмысленно – петля затянулась.

Энкавэдэшники в свою очередь тоже подумали, что им попался исключительный идиот, потому что только идиот мог умудриться фактически признаться в шпионаже, хотя его никто за язык не тянул. Может, и здесь бы пронесло чиновника, но буквально на днях в местное отделение НКВД пришла тайная разнарядка, что надо «давать план» – то есть изловить и расстрелять пару-тройку шпионов. Короче говоря, бедолагу-чиновника приговорили к расстрелу и в тот же день приговор привели в исполнение. Таким образом, информация о Невидове затонула, не успев всплыть.

А Михась никому ничего о визите рассказывать не стал. Побоялся, что ему не поверят – дурак дураку рознь, а этот городской был невероятным дураком. И хорошо, если только не поверят, а то могут и высмеять – мол, сам дурак, коли с дураком стоял, ласы точил, время терял. В общем, для рассказа тема была бесперспективная.

Самое интересное, что когда того несчастного чиновника вели по коридору, где обычно и происходил расстрел, он вдруг вспомнил название деревни и радостно закричал, обернувшись:  
– Невидово!

И в ту же секунду увидел направленное в лицо дуло пистолета. Палач, испуганный этим внезапным криком и разворотом, замер, придержав палец на курке:

– Что?

Он уже понял, что неожиданный выстрел в затылок не выйдет. И хотя в лицо никогда не стрелял, теперь выбора не было.

– Деревня Невидово называется, – неестественно членораздельно прохрипел белый, как простыня, чиновник, уставившись немигающим взглядом прямо в черную воронку дула.

– Аа, – понимающе протянул палач и нажал курок.

## Глава 4

Ровно в полдень Фролов вошел в просмотровый зал объединения «Ревкино». Там уже сидели несколько представителей худсовета: трое мужчин и одна женщина, а также Кондрат Михайлович Топор, по лицу которого было видно, что он, как и Фролов, ничего хорошего от просмотра не ждет. Фролов и вправду не строил никаких иллюзий насчет реакции худсовета на свою картину. Уже на стадии заявки, а позже и сценария он внес достаточно много поправок, и было бы странно, если бы сейчас готовый фильм был принят без каких-либо претензий. Любая драма или мелодрама, действие которой разворачивалось в дореволюционные годы, априори вызывала нахмуренные брови. Все боялись, что под прикрытием дореволюционной реальности художник может попытаться протащить что-то идеологически неверное. А если автором числился какой-то литературный классик, так тем более. Ведь признанным классиком вдвойне удобно прикрываться. В случае с Фроловым этим хрупким щитом служил Чехов. Его «Вишневый сад», который и служил сценарной основой фильма, в глазах советской власти был произведением почти правильным. По крайней мере, юмор Чехова легко трактовался как ироническое отношение автора к оторванным от народа и народных чаяний героям. А то, что в эту компанию угодил и зовущий в светлое будущее Петя Трофимов, так ничего страшного – он ведь пока тоже только мечтатель. Не дорос, так сказать, до понимания марксизма. Однако в фильме Фролов, сознательно или нет, сместил уже ставшие привычными акценты. И вернул усмешке Чехова горечь. Героев стало по-человечески жаль. Одних, потому что они запутались, других, потому что еще не понимали, что запутались. Всех. И Раневскую, и Гаева, и Трофимова, и даже дельца Лопухина. И когда последний требовал веселья в честь окончания торгов и рычал в предвкушении ближайшей вырубке сада, то выглядел так, словно сам в себе что-то вырубил. И чувствуя это, стонал от невозможности что-то исправить: «Скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь!» Жаль было и вишневого сада, ибо он был просто красив. А красота не имеет практического смысла и не измеряется деньгами. Но главное, она не поддается идеологии, ибо свободна.

Нельзя сказать, что Кондрат Михайлович так уж был доволен сценарием, но просто в то время у него не было выбора – по спущенной сверху разрядке объединение обязано было выпускать хотя бы одну картину в год. И если в 1940 году «Ревкино» эту задачу с грехом пополам выполнило – выпустив тот самый злополучный фильм про Гражданскую войну, то в нынешнем 1941-м дело слегка застопорилось. Первая картина на тему коллективизации была настолько художественно слабой, что ее забраковали и безо всяких идеологических придирок. Была и вторая лента, но она застряла на полпути – там бесконечно менялись режиссеры, которые по ходу съемок переписывали сценарий. Кроме того, половина отснятого материала оказалась производственным браком. Из-за бесконечных задержек к чертям летели все договоренности с актерами, которых теперь надо было собирать из разных городов, чтобы хоть как-то доснять начатое. Так или иначе оставался только Фролов со своим «Вишневым садом». Тема была не самой идеологически-выверенной, но ведь и план нужно было давать. А классика художественно, но «проходила». Если зарежут, думал Кондрат Михайлович, ничего страшного – главное, чтобы ничего политического не «пришили». Во время просмотра он зорко поглядывал то на лица членов худсовета, то на сидящего через несколько кресел от него Фролова. Фролов, и без того нервный, ерзал, скрипя сиденьем. А по железобетонным лицам членов комиссии ничего невозможно было понять.

Наконец, свет зажегся. Члены худсовета немного пошутукались, а затем началось обсуждение. Первым встал некто Крапивин, похожий на мелкое насекомое, выросшее по неизвестной науке причине до размеров человека. У него были длинные усы, которые смешно шевелились, когда он говорил, и большие, похожие на мушиные, базедовы глаза. Сходство с насекомым уси-

ливала яростная жестикуляция, в ходе которой возникало ощущение, что у него не две руки, а как минимум четыре. Крапивин обрушился на фильм с гневом отвергнутого влюбленного.

– Я уважаю Кондрата Михайловича, – начал он, и усы его зашевелились в такт губам, – знаю его как большевика, верного идеям ленинизма-сталинизма. Но что же мы только что увидели? Мы увидели пошлую историю о том, как бедные зажавшиеся люди мечутся в поисках какого-то там личного счастья. Где же борьба народных масс с вековой несправедливостью? Где возмущение автора безнаказанностью старорежимных эксплуататоров? Где обличительный пафос? Все утонуло в пошлой мещанской мелодраме. Да, Чехова мы знаем как талантливого обличителя не только мелких человеческих пороков, но и социальной несправедливости. Однако мы также знаем, что Чехов как мыслитель не дорос, да и не мог дорасти в силу объективных причин, до истинного понимания природы гнилого царизма и необходимости пролетарской революции. Наша задача – не просто безропотно следовать его слову, но и выразить наше отношение к написанному им. Стало быть, помочь ему обрести это понимание, пускай и посмертно.

Тут усы неожиданно перестали шевелиться, и Крапивин замолчал, видимо, посчитав излишним что-либо пояснять.

Фролов хотел было возразить, что снимал фильм в первую очередь о людях, об их мечущейся природе и невыраженных чувствах, но Крапивин как будто почувствовал готовящееся возражение и ожил. Первыми ожили его смешные усы.

– Любовь, товарищи, в том примитивном смысле, в каком понимали ее до революции, умерла. Пора бы это понять. Любовь, товарищи, это не цветочки и не вздохи на лавочке, а глубокое понимание необходимости обновления жизни и, если хотите, мировой революции, основанная на уважении и чувстве товарищества. Осознание важности борьбы, которую ведет пролетариат за свою свободу.

Фролов не понял, при чем тут, собственно, любовь, но возражать не стал – Крапивин говорил казенными законченными фразами, спорить с которыми было бессмысленно, – только впился пальцами в ручки кресла. Тут, однако, Крапивин снова перестал жестикулировать, замолчал и сел, а точнее, безвольно плюхнулся на место, словно брошенная кукловодом марионетка. После Крапивина встала дама лет тридцати, довольно симпатичная, если бы не хмурые сросшиеся на переносице брови и нездоровая агрессия в глазах.

– Полностью поддерживая товарища Крапивина, хотела бы сказать, что фильм не так безнадежен. Да, налицо некоторый идеологический просчет. Видимо, и мы где-то виноваты, раз позволили художнику сбиться с верного пути. Но я считаю, что необходимо внести более конкретные правки. Мы немного посоветовались во время просмотра и сделали кое-какие предложения. Не буду озвучивать все из них – автор может ознакомиться с ними позже. Андрей Михайлович все записал. Но скажу, что образ Фирса идет вразрез с произносимым им текстом.

– Это как? – опешил Фролов, с трудом подавив растущее раздражение.

– Он говорит, что «перед несчастьем так тоже было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь». А на вопрос «Перед каким несчастьем?» – он глубокомысленно говорит: «Перед волей». Возникает пауза, и Фирс предстает перед нами этаким философом, который считает волю несчастьем.

– Но так написано у Чехова, – внутренне вскипел Фролов. – Что же вы предлагаете изменить?

– Не знаю, – пожала плечами дама. – Вы – художник, вам виднее. Думаю, надо вообще убрать этот разговор.

Фролов промолчал, а дама, откашлявшись, невозмутимо продолжила:

– Также необходимо изменить облик Трофимова. Он сильно окарикатурен.

– И как-то жалок, – подсказал шепотом кто-то из комиссии.

– И как-то жалок, – добавила дама. – Кроме того, отмирающее дворянское сословие должно быть показано во всем своем безобразии, то есть со всей художественной большевистской прямоотой и беспощадностью. А что мы видим сейчас? Людей, которых мы еще и жалеть должны! Пускай товарищ Фролов перечитает «На дне» Горького. Может быть, тогда он поймет, что похож на утешителя Луку, которого Горький осудил за бесполезное и, можно сказать, преступное сострадание.

Подумав, она добавила:

– И было бы неплохо, если бы в изображении дореволюционной жизни было бы больше острой социальной правды.

Закончив, она поправила серую юбку и села.

За ней встал тот самый шепнувший подсказку про «жалкого Трофимова» болезненно худой мужчина лет сорока. «Чахоточный», как мысленно обозвал его про себя Фролов.

– Товарищ Туманова, в общем, все ясно сказала, и добавить мне нечего. Кроме мелких замечаний, которые мы записали вот здесь на листке и которые, надеюсь, помогут молодому режиссеру исправить ошибки и встать на правильный путь в жизни и искусстве. Может, я наивный мечтатель, но я верю, что ему с нами по пути!

После чего зашелся в сухом кашле.

«С тобой разве что по пути в могилу», – мысленно сыронизировал Фролов.

Поставив эту пафосную точку в своей короткой речи, «чахоточный» протянул Кондрату Михайловичу исписанный с обеих сторон листок. Фролов вытянул шею и увидел, что последней цифрой в списке пунктов значилось «52». Чувствуя себя абсолютно раздавленным общим количеством, а главное, качеством замечаний, он, тем не менее, едва не спросил напоследок, было ли что-то, что им понравилось в фильме. Но вовремя понял, что такой вопрос отдавал бы ехидством, а это было бы не только неуместно, но и чревато.

«Вот и нет фильма», – подумал Фролов, но как-то без особой горечи, потому что неожиданно вспомнил, как, уходя сегодня утром от Вари, забыл галстук. Обнаружив нехватку, он, чертыхаясь, снова поднялся по каменным ступенькам до Вариной квартиры. Входная дверь была не заперта, и он спокойно вошел внутрь, но вошел тихо, как будто что-то предчувствовал. Варя, которая на момент его ухода делала вид, что крепко спит, теперь разговаривала по телефону. Заразительно смеялась и кокетничала. Фролов сразу понял, что на другом конце трубки какой-то конкурирующий спутник. Более того, Фролов мог с точностью до сантиметра определить, на каком витке находятся отношения между ним и Варей. Это было почему-то особенно горько. Как будто он был уже столь опытным, что пора бы и честь знать. Когда он вошел в комнату, Варя слегка смутилась, но умело скрыла смущение – лишь удивленно приподняла брови.

– Галстук, – сухо сказал Фролов и гордо сдернул темно-синий галстук со спинки стула.

– Не тот, – насмешливо сказала Варя, продолжая держать у уха трубку, и Фролов заметил, что сдернул, видимо, галстук мужа. Его был чуть темнее и лежал на сиденье стула.

«Даже галстук мой похож на чей-то», – с тоской подумал он.

Он исправил промах и, не попрощавшись, вышел. В груди ныло так, что, глядя на галстук, в голову лезла только одна мысль – удавить себя этим чертовым галстуком здесь и сейчас. А может, сначала Варю?

Фролов прерывисто вздохнул и убрал галстук в карман.

## Глава 5

Когда все вышли из просмотрного зала и разберлись по своим делам, Кондрат Михайлович подошел к Фролову. Это было знаком расположения, поскольку обычно режиссеры сами подбегали к нему.

– Послушай, Александр Георгиевич, – начал он, – я тебя уважаю...

– За что? – довольно нагло перебил его Фролов, который внутри уже принял решение послать все к черту.

– Не юродствуй, – отрезал Топор. – Уважаю как художника, как человека, как гражданина.

«Началось», – с тоской подумал Фролов, который терпеть не мог эти «заходы издалека», к тому же не очень верил в уважение к своей персоне со стороны Кондрата Михайловича. Посему снова перебил.

– Как гражданина меня не за что уважать. Как художника тем более. А как человека вы меня и не знаете.

Кондрат Михайлович нахмурился, но выдержал паузу и продолжил. Правда, уже не так дружелюбно.

– Значит, так. Поправки ты видел, претензии ты слышал. У меня к тебе деловое предложение. Не хочешь, не принимай. Но сначала подумай. В трехстах километрах от Минска, в присоединенной области, недалеко от границы есть колхоз «Ленинский». Он там какой-то образцово-показательно-передовой. А может, и не передовой, но это неважно. Важно показать, что он передовой. И в то же время подчеркнуть, что он такой хороший не потому, что передовой, а потому что вообще все колхозы такие.

– Передовые, что ли? – недоуменно переспросил Фролов, слегка запутавшись в поставленных задачах.

– Не то чтобы передовые, а просто хорошие. А передовые не они, а вообще коллективизация. То есть этот колхоз хороший, но другие не хуже.

– В общем, такой хороший, что на него должны равняться другие хорошие, – подытожил Фролов.

– Да, – с облегчением выдохнул Кондрат Михайлович, который уже потерял надежду вырваться из этого логического лабиринта. – Снять нужно срочно. Заказ из Москвы. Обещаю, что если отснимешь, я срежу претензии худсовета наполовину.

Фролов хмыкнул.

– У человека убивают ребенка, а потом говорят, сделай то-то и то-то, и мы, так уж и быть, уьем его под хлороформом. Спасибо, конечно, но...

– Ты, Александр Георгиевич, мне условия не ставь, – разозлился Кондрат Михайлович, и Фролов почувствовал, что перегнул палку. – Или думаешь, что меня эта история очень радует? Я ведь тоже рисковал. Принял сценарий. Сам. То есть поставил свою голову на кон, так сказать.пустил тебя в производство. Недешевое производство, между прочим. А я деньги не печатаю. Мне сейчас тоже надо снова актеров собирать, группу... Так что не надо со мной пререкаться. Сам понимаешь, что фильм политически близорукий, незрелый. Необходимы поправки.

– Это не поправки. Это убийство. Тут надо все заново снимать. Но только делать это буду уже не я.

– Ты свои мелкособственнические замашки брось! Не будет он... Время не то. И твое положение тоже не то. И происхождение, – многозначительно и угрожающе добавил Кондрат Михайлович. – Кое-что, конечно, придется переснять, но я попробую отвоевать основные сцены. А что надо будет, отрежешь. Да, отрежешь. Или переснимешь. Не мне тебя учить.

– А «возмущение народных масс» – это я как снимать буду? – спросил Фролов.

Кондрат Михайлович поморщился.

– Я же сказал. Отснимешь колхоз, я помогу с картиной.

Фролов не очень верил, что Кондрат Михайлович поможет – слишком уж серьезные претензии. К тому же он понимал, что компромисс хорош, когда он компромисс. Сейчас же это был не компромисс, а ультиматум. Однако идея с поездкой ему понравилась.

«И вправду, – подумал он, – поеду, развеюсь. Заодно на время о Варе забуду».

– В общем, не кобенься, – продолжил Кондрат Михайлович, – бери Никитина, аппаратуру и дуйте в колхоз.

– Вдвоем, что ли?

– А что? Выделим вам машину от студии. Нам как раз недавно «эмку» новенькую распределили. Никитин поведет, он водитель хороший.

– Триста километров?

– Ну, там с сообщениями туго. Лучше полтора дня в машине потрястись, чем прыгать по попуткам. Нет, мне нравится. Он еще и недоволен!

– А свет? А звук?

– Может, тебе еще массовку в тыщу человек дать? – разозлился Кондрат Михайлович. – Тоже мне Эйзенштейн! Свет у солнца возьмешь, вон, какая погода ясная. Никитин – оператор первый класс, он и не в таких условиях снимал. А звук тебе зачем? Ты вообще что там снимать собираешься? Я тебя прошу снять счастливые будни колхоза. Две части максимум. А пленки я тебе дам на шесть. На всякий случай. Снимешь хорошо, будем говорить о твоём фильме. И все! Не зли меня. Бери Никитина и завтра с утра в путь. Только не спейтесь по дороге.

Фролов намек понял, поскольку хорошо знал Никитина. Талантливый оператор, матерщинник и бабник, короче, незаменимый в любой компании человек, Никитин был, увы, запойным пьяницей. Чем медленно, но верно гробил свою карьеру. Хотя был еще сравнительно молод – ему было под сорок. О никитинском алкоголизме на студии слагали легенды. Многие из которых, увы, имели под собой вполне конкретные факты. Так, например, отправленный однажды со съемочной группой в тайгу, он умудрился пропить новую стационарную американскую кинокамеру. Причем осталось загадкой, каким образом он ее пропил, а точнее: кому он ее продал и откуда взял водку, ибо в радиусе нескольких сотен километров не было ни одной живой души. Если, конечно, не считать медведей. Но поскольку о торговых отношениях между человеком и медведем никто никогда не слышал, этот вариант пришлось исключить. Сам Никитин дать какие-либо внятные объяснения на этот счет не смог, так как два дня просто не вязал лыка, а на третий просто ничего не помнил или не желал вспоминать. При этом виновато бормотал, что «ему больно говорить о своем проступке». «Тебе больно?» – кричал возмущенный режиссер, намекая, что на самом деле больно ему. «Мне больно», – сухо отвечал Никитин, так как с похмелья у него трещала голова, и ему действительно было больно. Все это, естественно, дало обильную почву для зубоскальства. В съемочной группе шутили, что «Никитину в тайге кто-то оказал медвежью услугу». А второй режиссер предположил, что медведи, видимо, хотели снять свою версию чеховского «Медведя», поскольку снятый как раз на «Белгоскино» фильм Анненского им не понравился – именно потому, что медведей там не было. Шутки шутками, но дорогостоящая экспедиция была сорвана, и Никитина едва не посадили за разбазаривание социалистического имущества. Спасло то, что те люди, которые должны были его посадить, были посажены раньше, чем успели посадить тех, на кого завели уголовные дела. А посему Никитину просто вклеили строгий выговор с занесением в личное дело, и все как-то само собой рассосалось. Возможно, не без помощи родного дяди Никитина – влиятельного республиканского чиновника. Однако по студии еще долгое время ходил стишок:

Не помню чудное мгновение, Я все вообще сумел забыть, Не продается вдохновение, Но можно камеру пропить.

Никитин на стихи не только не обижался, но и немного гордился, справедливо считая, что надежно вписал свое имя в героический студийный эпос.

Фролов все эти истории знал, но надеялся, что сумеет сдержать алкогольные позывы Никитина и направить их в творческое русло. Тем более что выбирать не приходилось.

## Глава 6

«Ну почему все так наперекосяк? – думал Фролов, трясаясь в машине. Позади были сутки пути, а голова никак не хотела отдохнуть от надоедливых мыслей. – Почему такая каша с Варей? Почему я до сих пор живу в коммуналке? Почему сплошное невезение в профессии? Ведь у меня столько замыслов и идей, а время идет. Скоро уже пятый десяток. Бог с ними, рано умершими гениями. Наверное, не стоит на них ориентироваться. Каждому овощу свой срок. Но вот идут годы, и на подходе уже сравнительно рано умершие, а за ними вполне своевременно умершие, а там уже и поздно умершие (которых единицы), а я все продолжаю жить пустыми надеждами. Будь я композитором или художником, все было бы проще – сиди дома, сочиняй, пиши, утешай себя мыслью, что потомки оценят. Но в кино это невозможно! И когда же я наконец разлюблю Варю?»

Этот простой вопрос, выскочивший посреди высоких размышлений о природе искусства, как чертик из табакерки, заставил Фролова болезненно скривить губы. Похоже, на подсознательном уровне он мучил его не меньше, а то и больше всех прочих.

Вообще с женщинами Фролову не везло. При том, что он был вполне красив по любым женским меркам – высок, худощав, без каких-либо лицевых или физических изъянов. У него были густые темные волосы, приятный низкий голос и тонкие музыкальные пальцы, хотя он не владел никаким музыкальным инструментом. Единственное, что слегка портило эту безупречную картину, был его нервный, слегка бегающий взгляд, выдававший в нем рафинированного интеллигента. Взгляд этот, чуть испуганный, чуть заискивающий, вступал в явное противоречие с дышащей уверенностью фигурой. Фролов вообще не мог долго смотреть в глаза собеседнику, что принималось последним как скрытность, нежелание быть откровенным, а то и явное пренебрежение. Казалось, будто Фролов что-то недоговаривает. В разговоре с коллегами или начальством эта манера с грехом пополам принималась, особенно теми, кто его хорошо знал, но женщины, пытаясь поймать глаза Фролова, начинали думать, что он либо что-то скрывает, либо просто себе на уме. Оттого и комплименты в его устах выглядели или натужными, или дежурными, или двусмысленными, словно он говорит их через силу, потому что на самом деле думает совсем иначе. Впрочем, узнав его поближе, к его бегающему взгляду привыкали, но поначалу это производило неприятное впечатление. Кроме всего прочего, Фролов был стеснителен. До того стеснителен, что все его женщины были не завоеваны им, а как будто подхвачены в нужное время в нужном месте. Или Фролов был ими подхвачен. Это как посмотреть. То есть если женщины и проявляли интерес к нему, то только потому, что у них в данный момент что-то на личном фронте не ладилось. Одна только-только развелась, другая только-только собралась развестись, третья (кстати, пионервожатая в «Артеке») нашла во Фролове утешение после расставания со своим любовником, мускулистым физкультурником, четвертая похоронила мужа и жаждала забыться в новом романе. Можно сказать, что это было главным, если не единственным везением Фролова в отношениях с противоположным полом. Он часто думал, а были бы у него вообще женщины, если бы не эта трогательная забота неба о его мужской состоятельности. Даже Варя, которая самолично набросилась на Фролова в коридоре киностудии, не была исключением. Мужа она давно не любила, а незадолго до кинематографического банкета рассталась с любовником, подающим надежды шахматистом, который отказался вращаться по заданной орбите и делить Варю с другими мужчинами. Хотя точнее было бы сказать, что он отказался делить шахматы с Варей, ибо именно они стояли для него на первом месте. А Варя, не терпевшая неповиновения и конкуренции, не стала вступать в неравный бой с деревянными фигурками. Этот прокол, а точнее опустевшее место в окопланетном пространстве, Варя тут же заполнила подвернувшимся Фроловым. И только самая первая женщина Фролова, студентка Московского текстильного института Юлия Карпухина, мало

того что ни с кем не расставалась, а и вообще была невинной. Правда, и тут имелся намек на будущее «везение» Фролова – у Юли незадолго до их знакомства умер отец. И если учение Фрейда верно, поскольку всеильно, то и здесь не обошлось без руки неба и все той же компенсации. Этот студенческий роман, впрочем, длился недолго. Но не потому, что остыли чувства, а потому, что в любовных утехх юная пара не имела никакого опыта, и постель довольно быстро превратилась для обоих в форменную пытку. Юный Фролов, не знакомый с женской физиологией, стеснялся, краснел и отчаянно пытался понять, как происходит любовный процесс. То он никак не мог попасть, куда надо – ему все время казалось, что то, куда надо попасть, должно быть выше, то от волнения и скованности терял возбуждение. Юля, которая была в этих делах еще более неопытна, стеснялась помочь Фролову. В итоге, подавленные собственным стеснением, они подолгу терлись телами, словно пытались этим неловким, но страстным трением высечь необходимую искру любви. Доводили себя до иступленного состояния, пока, наконец, просто не уставали. Во многом вследствие этой сексуальной неопытности роман как-то сам сошел на нет. А уже начиная со второй женщины у Фролова пошло «везение». Во Фролове находили утешение вдовы, разведенки и брошенки. Не надо только думать, что их было много, – Фролов ценил женское внимание и был максимально верен в отношениях, стараясь тянуть их как можно дольше. Не надо также думать, что любая вдова, обратившая на Фролова свой траурный взгляд, имела шансы закрутить с ним роман, – Фролов был все-таки разборчив. И если женщина ему не нравилась, он не шел с ней на близость. Зато если чувствовал чей-то интерес, мог со стопроцентной уверенностью начать знакомство с вопроса: «И с кем же вы только что расстались или поссорились?» Но сей вопрос он, конечно, никогда не задавал по причине его бестактности.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.